

## М.В. ЩЕРБАКОВ: ЧЕЛОВЕК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТИРА В ПОИСКЕ КОРНЯ ЖИЗНИ\*

А.А. Забияко

**Забияко Анна Анатольевна** – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы и мировой художественной культуры Амурского государственного университета (г. Благовещенск).

Контактный адрес: sciencia@yandex.ru

В статье исследуется образ человека дальневосточного фронта, созданный писателем-эмигрантом Михаилом Васильевичем Щербаковым (1890–1956). Он много путешествовал по Дальнему Востоку, побывал в Корее, Японии, Сингапуре, Гонконге. Под впечатлением от многообразного этнокультурного опыта создал различные стилизации в духе национальных традиций поэзии, публиковался в альманахах «Китай» (Шанхай, 1923 г.), «Врата» (Шанхай, 1935), «Отгул» (Шанхай, 1944). В 1922 г. переехал в многонациональный Шанхай. Опыт дальневосточной жизни и впечатления от морских путешествий по русскому Северу оставили в сознании писателя глубокий след. Раздумья об универсальных законах, сближающих людей в экстремальных условиях для выживания (тайга, океан), стирающих этнические и религиозные различия, воплотились в этнографических очерках, миниатюрах, лирических переводах с китайского, в повести «Черная серия», в художественном целом сборника «Корень жизни». Корень жизни – художественный и ментальный концепт его творчества, его художественной этнографии.

**Ключевые слова:** дальневосточное зарубежье, дальневосточный фронт, фронтальная ментальность, мифотипический комплекс, таежная этика, закон тайги.

Дальний Восток – не просто дальневосточный предел обширнейших пространств нашей Родины, это ее дальневосточный рубеж, *фронт* [11: с. 5–10; 12: с. 10]. На протяжении тысячелетий здесь встречаются и взаимодействуют самые разные этносы и народы, сталкиваются самые неблизкие национальные интересы, переплетаются обычаи и верования. Постепенно сложился тот тип представлений жителей дальневосточных земель, и шире – ментальности, который определяется как *ментальность дальневосточного фронта* [12: с. 10; 13]. Как правило, люди, способные выживать и, более того – добиваться успеха в суровых географических, климатических и психологических условиях дальневосточного порубежья, должны быть сугубо волевыми, пассионарными личностями. Исторически проблемы адаптации в этих суровых условиях (от Амура до морских границ), помноженные на необходимость фронтальных этнокультурных контактов, определили некоторые общие черты в идейно-психологическом облике пришлых насельников дальневосточных земель – будь то маньчжуры, китайцы, корейцы, русские и т.д.

Кто решался на рискованные предприятия в дальневосточных землях? Люди соответствующих моральных и психологических установок. «...Полстолетия тому назад Восточная Сибирь представляла собой действительно "Далекую окраину" или "Дальний Восток", как ее обыкновенно называли

русские обыватели. Чтобы добраться до ее крайних восточных пределов, т.е. до берегов Тихого Океана, надо было "скакать" десять тысяч верст через всю Сибирь, или "болтаться" по "морю-океану" сорок дней и сорок ночей! Обыкновенно тех, кто решался ехать в эти "гиблые места", *провозжали, как на тот свет!* И не даром, так как люди, забравшиеся на Дальний Восток, почти никогда не возвращались к себе на родину и, постепенно теряя с ней связь, становились "камчадалами", т.е. *людьми со своей особенной психологией и мировоззрением*», – писал о дальневосточных пассионариях Н. Байков, оказавшийся сам в этих землях в начале 1900-х гг. [4: с. 170–174]. Действительно, начиная с XVII в., совершенно особую группу русских новопоселенцев составлял «слой населения, явно или неявно противопоставивший себя государству, – преступники, беглые авантюристы, ищущие воли крестьяне и прочий люд, пришедший на Амур "без царя в голове". Характерно, что уже со времен похода Хабарова власть выстраивала политику заселения Приамурья ссыльными...» [12: с. 9–35].

И с обратной стороны, из Китая и Маньчжурии, к низовьям Амура, устремлялся в основном преступный элемент самых разных мастей [6: с. 5; 15: с. 119–120; 16; 20: с. 289]. В начале XX в. фронтальную специфику социокультурного облика региона зафиксировал тот же Н.А. Байков: «С незапамятных времен сюда стекались из ближних и дальних мест любители легкой наживы, беглые китайские солдаты, хунхузы, преступники, ускользнувшие от продажного правосудия, и всякий сброд, в силу различных превратностей судьбы и

\* Публикация подготовлена в рамках работы по гранту РНФ «Этнические миграции как фактор цивилизационных взаимодействий и социокультурных трансформаций в Восточной Азии (история и современность)», проект № 14-18-00308.

*беспросветной жизни потерявший образ и подобие Божие. Большинство, конечно, погибало здесь или от рук своих же звероподобных товарищей, или от руки дикого первобытного правосудия в лице выборного старшины, или от эпидемиологических болезней и неумеренного курения опиума»* [2: с. 384] (курсив мой. – А.З.).

Выживали тут самые отчаянные либо самые витальные. Это накладывало отпечаток на поведенческие установки и дальнейшие культурные запросы. Н. Байков подчеркнет «малокультурность и беспринципность» русских охотников, промысляющих в Северной Маньчжурии [3: с. 121]; он же обрисует и облик дальневосточной интеллигенции: *«Эта оторванность от родины, суровые условия жизни в диком безлюдном крае, отсутствие культурных интересов и сравнительная материальная обеспеченность выработали особый тип дальневосточной интеллигенции, отличавшейся от коренной российской своим широким размахом, деловитостью, энергией и предприимчивостью, но, в то же время, бесшабашным легкомыслием, самодурством и беспечностью»* [4: с. 170–174] (курсив мой. – А.З.). Свои этнографические и этнокультурные наблюдения Н.А. Байков осуществлял в Маньчжурии, будучи командированным туда как натуралист и воин-заамурец. Границы в эти годы были открыты, строительство КВЖД стимулировало предприимчивый и витальный народ по ту и эту сторону границы. Байков (вслед за А.В. Елисеевым, Н.М. Пржевальским) стал органичным продолжателем зародившейся на дальневосточных землях художественной этнографии Дальнего Востока [7: с. 154 – 170; 8: с. 119–140].

Так, 20-е гг. XX столетия кардинально изменяют эту ситуацию, когда огромные слои бывших граждан Российской Империи будут вынуждены переместиться поначалу во Владивосток, а затем в Китай, Северную Маньчжурию. Большую часть русских эмигрантов составят военные – прошедшие фронты Первой мировой, пережившие революцию, Гражданскую войну и поражение белой армии. Ничего удивительного нет в том, что и писательская среда дальневосточного зарубежья будет сформирована этими детьми войны. А жизнь в условиях дальневосточного фронта обернется для них не только школой выживания, но и богатым пространством художественной рефлексии [5: 35–40; 9: с. 270–290; 10: с. 139–157].

Одним из таких писателей и самоценных типов дальневосточного фронта станет Михаил Васильевич Щербаков [1890–1956] – профессиональный физик (закончил Императорское высшее техническое училище), военный летчик, замечательный фотограф (одним из первых разработавший технику цветной фотографии), писатель, поэт и литературный критик, в совершенстве знавший французский, английский, немецкий языки [17: с. 70; 19: с. 34].

Был мобилизован в 1914, направлен во Францию, где прошел краткосрочные курсы аэрофотосъемки. Воевал на Балканском фронте. Стал добровольцем Французского иностранного легиона, получил французское гражданство. Но вместо службы в Ханое он перебрался в шальной Владивосток, где прожил несколько лет, редактируя монархическую газету «Русский край» и «Крестьянскую газету». Он был знаком со многими, ставшими впоследствии известными харбинцами (Б. Бета, Вс. Ивановым, А. Несмеловым, М. Урванцевым). В частности, во Владивостоке, Щербаков общался с В.К. Арсеньевым, тот подарил ему свою книгу [14: с. 19]<sup>1</sup>. Щербаков во Владивостоке учит китайский язык, очевидно – много читает литературы, посвященной Китаю, Японии, востоку Азии вообще.

Покинув Владивосток буквально перед самым вступлением туда красных войск, Щербаков много путешествует по Дальнему Востоку, побывав в Корее, Японии, Сингапуре, Гонконге. Под впечатлением от многообразного этнокультурного опыта Щербаков создает различные стилизации в духе национальных традиций поэзии. Они публикуются в альманахе «Китай» (Шанхай, 1923 г.), «Врата» (Шанхай, 1935), «Отгул» (Шанхай, 1944) [23].

В 1922 г. пристанищем Щербакову становится многонациональный Шанхай, где писатель проживет более чем двадцать лет. Там он активно занимается литературной и организаторской деятельностью, создает и руководит объединением «Понедельник». С 1933 г. входит в правление литературно-художественного объединения «Восток», печатается во многих дальневосточных журналах и альманахах («Врата», «Понедельник», «Багульник», «Феникс», «Шанхайская заря» и др.), а также в ряде американских и европейских изданий («Дымный след», «Современные записки», «Балтийский альманах»). Сразу по приезду в Шанхай либо еще во время своего владивостокского жития и путешествий по Тихому океану и северным пределам России он обратился к переводам. В частности, в «Балтийском альманахе» [29: с. 43–49] публикуются его «Шанхайские миниатюры» с подзаголовком «Переводы с китайского» (при этом авторский подзаголовок – «Из китайских анекдотов»). В эти миниатюры входят истории из жизни «китайских замечательных людей» (например, Ли Бо), явно переводные, и очерки – философско-лирические зарисовки китайской жизни. Уже в эти годы Щербаков поднимает вопросы восприятия русским (европейским) сознанием быта и образа жизни китайцев («Муравьи»), его волнуют проблемы этнической

<sup>1</sup> В библиотеке М. Щербакова, сохраненной частично В.А. Слободчиковым, есть первое издание книги Арсеньева с надписью владельца «М.Щ.».

идентификации метисов («Хав-Касты»). В этой же публикации впервые появятся его очерки «Каллиграф» и «Нищие», впоследствии вошедшие в «Шанхайские наброски» сборника «Корень жизни».

В 30-е гг. у коллег по цеху Михаил Щербаков заработает эпиграмму, характеризующую и его писательские ориентиры, и сноровку путешественника, и мужскую силу:

М. В. Щ.

При драке с ним, хоть удивитесь,  
Получите ущерб боков.

*То – наш Джек Лондон, храбрый витязь,  
Михал Василич Щербаков* [18: с. 2].

В 1925 г. в альманахе «Дымный след» (Сан-Франциско) «увидит» свет очерк «Корень жизни», затем опубликованный в парижских «Современных записках». Ю. Айхенвальд выделил в «Корне жизни» и самоценность самого дальневосточного материала, и специфический этнокультурный аспект, и закрученность фабульной пружины: «В необычную обстановку и к *необычной этнографии*, в *среде китайцев и корейцев*, переносит нас г. Щербаков; и *русскую жертву «женишества»* тоже показывает он. Сделано это искусно, и производит впечатление *повести о тех обильных смертях, какие повлек за собою корень жизни*». Но парижский критик весьма тонко почувствовал и авторскую концепцию фронтирной мифологии, в которой корень жизни карает, но воздаяния за несправедливые поступки не дает: «Может быть, в связи с этой *ироничностью сюжета* легкой иронией и преднамеренной объективностью подернут и самый тон рассказа» [1: с. 2–3].

В течение двух десятилетий Щербаков продолжает оттачивать свое мастерство – с одной стороны, в этнографических изысканиях, с другой, в области беллетристики, зачастую соединяя в себе этнографа и беллетриста: он пишет и публикует этнографические очерки [24], переводит тексты новых китайских писателей, пробует себя в разных жанрах прозы: приключенческой повести «Черная серия» [28], фантастической повести «Токсин любви» [26], рассказах.

В своих очерках например, Щербаков скрупулезно описывает культовую сторону китайского буддизма, наблюдаемую им на священном острове Путу («Священный остров»). Здесь он – и профессиональный этнограф, подмечающий все детали быта буддийских монастырей, описывающий историю острова Путу, и грамотный религиовед, детально воссоздающий легенду о Мио-Шень (так в земной жизни именовалась Гуань-Инь), делающий зарисовки культа предков, фиксирующий тексты и ритуалы заупокойных служб, исполняемых на острове, а также констатирующий «причудливый

конгломерат верований, которым стало на китайской почве учение Будды» [22: с. 368].

В литературно-критическом обзоре он подчеркнет свой интерес к беллетристическим жанрам: «Мы все не противники фабульно-приключенческого рассказа и считаем, что этот жанр имеет такой же «raison d'être» в литературе», – и резюмирует: «главное для вещей такого рода – убедительность» [21]. Однако Щербакову претит, если «белые нитки, которыми автор сшивает действительность с фантастикой, так и остаются невыдернутыми» [21].

В повести «Черная серия» Щербаков воссоздает события своего путешествия через Камчатку на русский Север, в Землю Коряков, вписывая их в «роковую историю» о роли случая – «черной серии» в жизни человека. Русский летчик (Никита Анисимович Порейчук) случайно становится причиной гибели японского солдата; спасаясь от полиции, он устраивается на шхуну с китайско-японской командой. Шхуна отправляется на Камчатку, но уже в начале рейса повар-китаец варит команде суп из акулы – священной рыбы, являющейся «и покровительницей, и врагом моряков. Есть ее на корабле никак нельзя: обязательно несчастье будет» [22: с. 196]. Команда требует расчет, и Никита Анисимович вынужден плыть дальше уже с корейской командой. По дороге горе-капитан с горюющей фамилией Худовой («произнося несчастливую фамилию капитана, Рябоконь никогда не забывал перекреститься под столом» [22: с. 202]), не знающий морских обычаев, убивает чайку. Подбить чайку по морским законам – навлечь беду и на себя, и на судно: «Вот попомни меня: мы еще, Бог даст, может, выкрутимся, а уж тебе теперь со шхунной крышка, как пить дать, крышка!», – предвещает Худовою старый морской волк Рябоконь, с которым солидаризуется и русская, и корейская часть команды.

По пути своей «черной серии» герой успевает познакомиться с коряками и их бытом: «Это землянки оседлых коряков. <...> В земляной юрте нет ни окон, ни дверей, ни трубы: а все дыра в потолке. А снизу коряки лезут к ней по стволу с перекладинами» [22: с. 206], их промыслом («Однако, ноне урозай очень хорос: сетоцек не хватало! – цокая, говорили моряки – Когда рекой сла, олень по самое брюхо в рыбе тонул... Хоросый урозай!» [22: с. 206]; приводит разные варианты их речи, а также русско-китайского пиджина.

Узнав многие народы, изведав разные несчастья по пути своего «черно-серийного» путешествия, *русский герой* все преодолевает и оказывается на Гуаме – острове в западной части Тихого океана. Читатель понимает, что, даже если это и конец «черной серии», то не конец испытаний бедолаги-

русского, не предел его знакомств с другими странами и народами.

Опыт дальневосточной жизни и впечатления от морских путешествий оставили в сознании писателя глубокий след. Раздумья об универсальных законах, сближающих людей в экстремальных условиях для выживания (тайга, океан), стирающих этнические и религиозные различия, оплотнятся в художественном целом сборника «Корень жизни».

Как книга-сборник «Корень жизни» формируется почти двадцать лет и выходит в свет только в 1943 г. Туда в основном входят рассказы, написанные в 1923–1930 гг. (в них можно обнаружить прозаическое развитие стихотворений 20-х гг.); лишь два рассказа датированы 1935 и 1934 гг. [25; 27].

Произведения эти разнообразны по жанровому, сюжетологическому наполнению: среди них и новелла («Корень жизни»), и «Корейская легенда» («Озеро богача»), и рассказы, написанные в духе фантастического реализма («Утес Дракона», «Джонни молодой мамонт»), и лиризованные зарисовки («Шанхайские наброски») и т.д. Все эти тексты объединены мифологией и мифологическими воззрениями самых разных народов, населяющих Дальний Восток: китайцев, маньчжуров, корейцев, японцев, коряков, пропущенные сквозь призму восприятия русского человека.

Начинается сборник рассказом «Корень жизни», написанным, как было сказано, почти четверть века назад. Это и хронологическая, и топонимическая точка отсчета художественного мира книги. Художественный посыл «Корня жизни» был проявлен уже в эпиграфе – китайской пословице: «Где женьшень, там и тигры». Для восточных людей эта фраза становится непосредственной реализацией мифологемы, согласно которой *женьшень* – одно из воплощений Духа лесов и гор, а его животное воплощение – *тигр*. Но пословица есть пословица, она иносказательна. Жажда обладать корнем превращает в тигров людей.

Злокозненность Корня Жизни, попавшего в «нечистые» человеческие руки с целью наживы, по мысли автора, проявляется вполне последовательно: убийство рождает убийство: «убивают не только люди, – убивает убийцу и тигр, привлеченный свежим запахом только что пролитой крови» [1: с. 3]. В сюжете рассказа переплетается динамика действия и кумулятивная однообразность каждой новой сюжетной ситуации: борьба за корень между нашедшим его женьшеньщиком – «голубым фазаном», Ли Фун-линем, охотником за женьшеньщиками – Цзян-Куем, «белым лебедем» корейцем Кимом; исполненное символического смысла, но вполне реалистичное убийство Кима тигром, переход корня в русские руки «Тигровой смерти», Николая Тимофеевича, его приключения с корнем, и, нако-

нец, убийство «Тигровой смерти» и кража корня китайцем-аптекарем, коварно убившим охотника и уехавшим в Шань-Си.

По мере каждого преступления возрастает и жестокость воздаяния «гения охранителя» – Духа Леса и Гор. Для русского охотника, знающего «таежную грамоту» и нашедшего корень возле убитого, таежная примета является намеком на его дальнейшую судьбу: «Где женьшень, там и тигры!.. – припомнилась ему древняя китайская поговорка, и Корень Жизни начал внушать к себе еще большее уважение.

«– Ладно, там посмотрим!.. – сказал он громко в ответ на свои мысли, осторожно уложил корень в мох, обернул берестой и, спрятав на дно пейтузы, отправился напрямик через сопки в деревню к брату» [22: с. 17]. Но, когда надо было бы поверить «таежной грамоте», этот русский герой полагается на русский «авось». Желая обогатиться, он, преступая «таежный закон», забирает женьшень. Тем самым «Тигриная смерть» обозначает свой Путь – вернее, свой конец.

Собственно говоря, по дороге к своему концу «Тигриная смерть» пошел давно: он неоднократно посягал на самого «Великого Вана» – либо продавая «молодого царя тайги» в гамбургские зоосады, либо убивая тигра и сдавая аптекарю ценные части его тела. Не случайно, проживая среди обитателей тайги, он остается для них чужим, «белым дураком», «белым дьяволом».

Николай Тимофеевич точно так же относится к китайцам и к их обычаям. «Сплеывая и ругаясь», как от нечистой силы, он стремится прочь из «смрада» китайского района: «Охотнику сделалось тошно от всех этих запахов и звуков, его потянуло туда, где были белые люди, а не эти скользкие черные фигуры, от которых так явственно пахло смертью» [22: с. 30]. Заметим, что эти ощущения весьма близки авторскому восприятию духовной жизни китайцев в очерках «Шанхайские миниатюры» (1924). Возможно, именно это органическое неприятие Николаем Тимофеевичем китайцев и их быта стало причиной неуважения его к «закону тайги». Этот русский – чужак в этом мире таежных мифологем.

*Корень жизни* становится знаком смерти для каждого, вновь обретшего его – правдой и неправдой. Образ смерти, предопределения, напрямую или косвенно связанный с переходной обрядностью китайцев, органично вписывается русским писателем-эмигрантом в его понимание новой культурной и этнорелигиозной ситуации. Во втором рассказе «Паршивый уголь» (1924) героем является русский капитан Вассер. Вопрос о *русскости* капитана Вассера заслуживает отдельной темы, однако, в пространстве разговора о «таежных законах» он выступает как носитель русского этнического сознания. Более определенно *русскость* как этнокуль-

турный выбор реализована в образе капитана Дэка («Последний рейс»): со своими «финскими скулами» тот попросту именуется владивостокским губернатором «инородцем». Именно Вассером – «заядлым таежником», прожившим немало лет на мысе Св. Ольги бок о бок с китайцами и «инородцами», излагаются «священные законы тайги». Первый – «гостеприимство» (вплоть до абсурдных, с точки зрения европейца, форм «угощения женой»), второй – «не воруй!» («нет тебе, вору, по всей тайге ни чифана<sup>2</sup>, ни теплого ночлега»), третий – «братская клятва» («за ее нарушение одна кара – смерть. Тому, кто бросил братку в беде – смерть. Тому, кто убил братку – смерть через лютую пытку») [22: с. 43].

Герой рассказа, капитан, демонстрирует открытое «великодержавное» пренебрежение к китайцам, населяющим бухту Святой Ольги в Приморье. «Я туда попал с войны после контузии. В те времена русских там почти не было. Одни инородцы: гольды да орочи. Но больше всего – китаезы из Шаньдуня. Ведь из этого самого Чифу желторожие прут к нам, как из брандсбойта. Чего только не делали при Царе, чтобы остановить: ничего не помогло. Расползлись, как клопы. И бойки, и «купезы», и плотники, и кочегары<...> Тут тайга под носом, а у них вонь и грязь, что в твоём Китае» [22: с. 50].

Однако как только речь заходит о китайцах-таежниках, – тон и язык рассказчика меняются кардинально. *Таежный человек* (фронтирный человек) начинает говорить о «своих», *таежных людях*, и «своих», *таежных порядках*: «Но это вовсе не значит, что в тайге был беспорядок. Наоборот, *порядочек был такой, что дай Бог каждой стране*. Вся тайга делилась на участки в тысячи квадратных верст каждый, и для каждого избиралось по три судьи-старшинки на три года» [22: с. 52].

Случай, рассказанный Вассером, не только проясняет жизненную подоплеку таежных законов, но и косвенным образом утверждает их мистическую детерминированность с точки зрения фронтирной мифологии. В этом повествовании «таежным законом» проверяется и русский (сам Вассер), и китаец. В тайге пропадает богатый Сан Хо-лин, уходивший на охоту вместе со своим «браткой» Кун Си. Казалось бы, что тут удивительного: «Мало ли охотников таежный зверь каждый год задирает?». Но благодаря «таежной правде» загадка пропажи старого китайца открывается: «Удивительное, право, дело: ведь уж, кажется, никто ничего не слыхал – не видал, а вот заговорила тайга, будто живой человек, заговорила!». Поиски увенчиваются успехом только тогда, когда охотники «надумали помолиться у фанзушки. Сели, развели огонек, помолились духу покойника и дали обет до тех пор не курить трубо-

чек, пока не разыщут Сан Хо-лина». История оказалась весьма запутанной: молодой напарник не простил трусливому старику того, что тот бросил его наедине с тигром. Убийство молодым Кун Си братки, бросившим своего же братку, неоднозначно оценивается Вассером – русским человеком, но однозначно отрицательно – Вассером-таежником: «Закон тайги ясен. Статей в нем мало; снисхождение никаких: за смерть полагалась смерть. А тут, конечно, вина еще увеличивалась: ведь старик-то принял убийцу в дом, облагодетельствовал, можно сказать...» [22: с. 55].

В рассказах «Джонни, молодой Мамонт», «Иринари», «Озеро богача», «Утес Дракона» герои тунгусской, японской, корейской, китайской мифологии так или иначе инкорпорированы в бытие русского человека: то как оживший Маммон – Джонни Молодой мамонт, то в облике демона-лисицы *иринари*, то – в очертаниях мифологизированного ландшафта, то – в материализовавшемся восточном драконе, откусывающем самыми что ни на есть реальными зубами ногу русскому офицеру. От чужих богов русскому человеку ждать нечего, – такой вывод напрашивается читателю.

Логика чужих обычаев и традиций страшит русского человека, особенно проявлена их демоническая инородность в Шанхае: «Из приоткрытых ставень китайских лавок, где готовили бобовое тесто, плотными клубами выкатывался жирный пахучий пар. Голые по пояс китайцы, копошившиеся внутри у закопченных котлов, казались чертями с даосских картин, изображавших адские муки» [22: с. 86]. Эта inferнальная атмосфера, которую может хоть как-то избежать русский человек в городе, настигает его в естественной среде. Дракон, знакомый по лубочным картинкам и китайским инсценировкам, материализуется во всем своем физиологическом уродстве на острове Жаба, куда во время кораблекрушения попадает русский офицер Елагин. И реальность оказывается много страшнее картинок: «Вы видели китайские шествия, когда тридцать-сорок человек несут на шестах извивающееся бумажное чудовище с саженой головой и парой горящих выкатившихся глаз? Так вот, всего в нескольких метрах ниже края выступа мой взгляд уперся в глаза очень похожей гадины, но настоящей, живой, тяжело храпевшей и обдававшей меня целыми волнами мерзостного запаха» [22: с. 99].

В предисловии к сборнику Щербаков пояснит: «Собранные в этой книге рассказы написаны в разное время за двадцать лет жизни в Шанхае. Большинство – дань восхищения перед суровой красотой людей и природы русских Дальнего Востока и Севера, о которых все еще мало сказано в нашей литературе» [22: с. 15–17]. На самом деле *русско-сти* в ее архетипическом этнокультурном понима-

<sup>2</sup> «Чифан» (пидж., с кит.) – еда.

нии в сборнике – мало. Его русские – это особые русские, *русские дальневосточного фронта*. Их ментальность вбирает этнокультурные и этнорелигиозные традиции самых разных народов, их сознание синкретизируется. Не случайно рядом с русским героем в рассказах часто фигурирует европеец, отчасти выполняющий роль мифологического трикстера («Иринари», «Джонни молодой Мамонт», «Европеец», «Последний рейс»). Он, европеец, постоянно испытывает русского, провоцируя на контакт с инокультурой. Так, в рассказе «Иринари» именно англичанин, заводя разговор об «истинной православной вере», подталкивает русского на кражу японского божка из кумирни. Поругание чужой святыни «на спор» приводит доверчивого и горячего русского к тому, что божок «материализуется» и преследует Петра Фаддеича: «Отдай божка!.. Поставь обратно!» [22: с. 110].

В некоторых случаях европеец – откровенный антагонист русского и непостижимой для европейца русскости. В рассказе «Европеец» француз Сорель мается оттого, что не может постичь характер русской женщины Лели, а это причиняет ему моральное неудобство. Леля ездит с ним танцевать в дансинг, очаровывая его своей фарфоровой точеной фигурой, своими светскими манерами, но в неожиданно ординарный – по меркам Сореля – момент начинает вдруг плакать и «капризничать». По сравнению с Лелей насколько мила и понятна американка Бетти – сама предложившая Сорелю себя, оговорив при этом всю взаимовыгодность их эротически-циничной «сделки». Все деньги, потраченные на Бетти, окупались для Сореля его мужскими радостями. Иное дело – эта Леля! «Один черт поймет этих русских! Действительно, полуазиаты!», – восклицает француз, раздражаясь при мысли о непостижимой русской барышне. «Азиаты», – позднее выносит Сорель окончательный диагноз, взбешенный резким отказом Лели. А кто же он сам? Стареющий французский сноб, ведущий праздный образ жизни в Шанхае, но надеющийся либо выгодно жениться, либо сыграть на акциях суматровского угля. Этот европеец берет чековую книжку и, как «честный человек», посылает Леле 50 долларов – на прощание.

Иного теста – *русские* мужские типажи: Елагин, выдержавший поединок с самим драконом («Утес Дракона») и, несмотря на смертельную рану, стремящийся оставить свидетельские записки об этом событии, чтобы предупредить людей об опасности; офицер Ларцов, убегающий к любимой по распутице, несмотря на грозящее наказание в виде военного трибунала («Подсудное дело»), тот же Ларцов («Мистраль»), вступающий в поединок с самим мистралем – изматывающим ветром (непостижимо для французов, прекращающих все попытки полетов на этот период) и совершающий дерзкий полет

над полями Роны. Эти рассказы повествуют о событиях, не связанных с эмиграцией – два из них происходят во время Первой мировой войны, в западной части России и во Франции. Однако именно эти русские люди, способные на дерзкие и безрассудные с точки зрения европейского здравого смысла поступки, становятся потом *особенными русскими* Дальнего Востока и Севера. Таким был и сам автор: автобиографические черты присущи его героям – Ларцову и Елагину.

Так в чем же он, «корень жизни», по Щербакову? Ведь название текста, а тем более, сборника, всегда – его смысловой конденсат. Однозначного ответа после прочтения книги у пытливого читателя нет. Герои рассказов – русские и китайцы, насельники дальневосточного фронта в широком смысле – так и остаются разделенными друг от друга верованиями, привычками, этикой. Русские – «белыми дьяволами» для китайцев. Китайцы – «даосскими чертями» для русских. Но явственно и то, что художественное сознание Щербакова интуитивно ищет собственного «соответствия» (название сонета М. Щербакова, 1922) восточному типу мышления.

Так или иначе, этнографические сведения, облеченные в динамичную фабулу – только повод для философских раздумий о том, как вписывается европейское мышление в многовековые традиции «фронтирной мифологии», как способно оно усвоить чужие обычаи, пронизанные древними религиозными воззрениями. В китайской религиозной традиции, уходящей в глубокую древность, бытует представления об эвгемеризации мифологических персонажей. Очевидно, Щербаков смолоду обладал весьма подвижной психикой – благодаря этому он был особенно чуток к восточной мистике, где реальность с фантастикой переплетены неразложимо.<sup>3</sup> В текстах Щербакова мифологические существа не просто *оживают* – они живут своей жизнью задолго до встречи с ними русского героя; фантазмы в рассказах Щербакова также неотделимы от реальных событий и ощущений, рожденных *сдвинувшейся реальностью русской жизни*.

Сборник «Корень жизни» в своем противоречивом художественном целом воплотил попытку русского художника слова, утратившего родные «корни» и оказавшего в дальневосточных пределах, вжиться в иную систему духовности и обрести иной «корень жизни» – новый смысл бытия. Этот

<sup>3</sup> Известно, что, уже переехав в Париж, в 1956 г. в результате душевной болезни М. Щербаков выбросился из окна. Однако не ясно доподлинно, когда реально заболел писатель. Обычно первые симптомы душевных расстройств проявляются в молодом возрасте. Возможно, его самоубийство стало следствием очередного кризиса, вызванного трудностями адаптации на новом месте, в чуждой инокультурной среде.

смысл доступен новому типу ментальности – ментальности дальневосточного фронта, но усвоить ее способен далеко не каждый.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Айхенвальд, Ю. Литературные заметки / Ю. Айхенвальд // Руль. – 1926. – 17 ноября. – № 1813.
2. Байков, Н.А. В горах и лесах Маньчжурии: очерки; Тигрица: повесть / Н.А. Байков. – Владивосток : Рубеж, 2011. – 480 с.
3. Байков, Н.А. Записки замурца. Воспоминания / Н.А. Байков // Россияне в Азии. – 1997. – № 4.
4. Байков, Н.А. Ланцепупы (У костра) / Н.А. Байков // Литература русских эмигрантов в Китае. В 10 т. Т. 3. Соната над Хинганом ; собиратель оригиналов, гл. сост., шеф-ред. Ли Янлен. – Пекин, 2005. – 590 с.
5. Голенищев-Кутузов, И.Н. Русская литература на Дальнем Востоке / И.Н. Голенищев-Кутузов // Возрождение. – Париж, 1932.
6. Граве, В.В. Китайцы, корейцы и японцы в Приморской области / В.В. Граве // Труды командированной по Высочайшему повелению Амурской экспедиции. – Вып. 11. – СПб., 1912. – 202 с.
7. Забияко, А.А. Мифология дальневосточного фронта в сознании писателей-эмигрантов / А.А. Забияко // Религиоведение. – 2011. – № 2.
8. Забияко А.А. «Фронтирная мифология» в художественной рефлексии дальневосточных писателей (20–30 гг. XX в.) / А.А. Забияко // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Русские и китайцы: региональные проблемы этнокультурного взаимодействия. – Вып. 9. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, 2010.
9. Забияко, А.А. Художественная этнография Дальнего Востока: советский и эмигрантский текст / А.А. Забияко // Традиционная культура Востока Азии. – Благовещенск : Амурский госуниверситет, 2014.
10. Забияко, А.А. Трансформация сюжетов китайской мифологии в творчестве дальневосточных писателей 20–40 гг. XX в. / А.А. Забияко, И.А. Дябкин // Религиоведение. – 2013. – № 4.
11. Забияко, А.П. Порубежье / А.А. Забияко // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. – Вып. 9. – Благовещенск, 2010.
12. Забияко, А.П. Русские в условиях дальневосточного фронта: этнический опыт XVII – начала XX вв. / А.П. Забияко, Р.А. Кобызов, Л.А. Понкротова // Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке. – Благовещенск, 2009.
13. Забияко, А.П. Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке / А.П. Забияко, Р.А. Кобызов, Л.А. Понкротова. – Благовещенск, 2009. – 412 с.
14. Коллекция «русского харбинца». Каталог собрания В.А. Слободчикова. – М. : Пашков дом, 2006. – 116 с.
15. Невельской, Г.И. Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России. 1849–1855 / Г.И. Невельской. – М., 1947. – 245 с.
16. Пржевальский, Н.М. Опыт статистического описания и военного обозрения Приамурского края (1863). Рукопись / Н.М. Пржевальский. – АГО РФ Ф. 13. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 91об. – 92, 94 об.
17. Русская поэзия Китая: Антология / сост. В.П. Крейд, О.М. Бакич. – М., 2001. – 720 с.
18. Светлов, Н. Чураевцы по белу свету / Н. Светлов // Молодая Чураевка. – 1932. – № 5 (30 июля).
19. Хисамутдинов, А.А. Российская эмиграция в Китае. Опыт энциклопедии / А.А. Хисамутдинов. – Владивосток, 2002. – 247 с.
20. Шренк, Л.И. Об инородцах Амурского края / Л.И. Шренк. – СПб., 1899. – Т. 2.
21. Щербаков, М. Литература и книгоиздательство / М. Щербаков // Врата. – 1935. – № 2.
22. Щербаков, М. Одиссеи без Итаки / М. Щербаков // Повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы. – Владивосток, 2011. – 480 с.
23. Щербаков, М. Отгул: Стихи / М. Щербаков. – Шанхай, 1944.
24. Щербаков, М. По каналам. С фотографиями автора / М. Щербаков // Слово. – 22.03.1930; По древним каналам. Этнографический очерк // Понедельник. – 1930. – № 1; Священный остров. Очерк о Путу // Парус. – 1932. – Вып. 9.
25. Щербаков, М. Последний рейс / М. Щербаков // Врата. – 1934. – Кн. 1.
26. Щербаков, М. Токсин любви (отрывок) / М. Щербаков // Понедельник (Шанхай). – 1931. – № 2.
27. Щербаков, М. Утес Дракона / М. Щербаков // Врата. – 1935. – Кн. 2.
28. Щербаков, М. Черная серия. Повесть. В 9 гл. / М. Щербаков // Багульник (Харбин) : лит.-худ. альманах. – 1931.
29. Щербаков, М. Шанхайские миниатюры (переводы с китайского) / М. Щербаков // Балтийский альманах. – 1924. – № 2.